

АЛЕКСАНДР БИКБОВ

О возможности контролируемого нарушения

Дистанция

Ключевой и исходной проблемой в понимании не только «туземного», но и своего социального порядка является проблема дистанции между наблюдающим и наблюдаемым. Полем, которое подчиняется этой проблеме, номинально являются индивидуальные взаимодействия, когда один наблюдает за другим(и) или, точнее, одна группа (исследователей) обменивается представлениями о том, чем занимаются другие (исследуемые) группы. При этом то или иное столкновение наблюдателя с наблюдаемыми неизбежно. Дистанция может быть выражена наиболее простым способом — телесно, когда исследователь модулирует тон голоса, регламентирует свои высказывания, жестикулирует таким образом, чтобы сохранить минимальное вмешательство в «естественную среду» исследуемого и, как ему представляется, обеспечить наиболее нейтральный характер своего присутствия. Этот важный аспект деятельности исследователя редко подвергается рефлексии, во многом потому, что в непосредственной ситуации наблюдения или интервью не предусмотрено позиции наблюдателя за наблюдателем. Сам исследователь не замечает *всего* того, что он делает, манипулируя правилами коммуникации и стремясь остаться невидимым и неклассифицируемым для наблюдаемых. Между тем это лишь часть проблемы дистанции.

Другая важная ее часть находится не на стороне индивидуальных взаимодействий, а на стороне мыслительных структур. Притворяясь, что не знает реального порядка и правил, управляющих действиями исследуемых, исследователь на самом деле всегда разделяет с ними нечто общее. Выступая основой коммуникации между исследователем и

исследуемым или гарантируя корректность смыслов, который наблюдатель приписывает действиям других «издалека», это общее является своего рода не пережитым вместе, но оттого не менее действенным коллективным опытом. Чем более общим является данный опыт, тем сложнее исследователю объективировать это общее в описании других. В этом смысле проблема исследовательской дистанции состоит прежде всего в преодолении другой, «естественно» (т.е. социально) сформированной, дистанции между объективированными и очевидными основаниями того порядка, частью которого и является мышление самого исследователя-наблюдателя. Эта исходная дистанция между неразлично очевидным и различающе объективированным даже не велика, а точно не установима и не измерима. Именно поэтому стартовым условием исследования является установление новой, рассчитываемой и управляемой дистанции. В этих условиях трудности управления дистанцией и издержки невольной включенности исследователя в исследуемый мир через не пережитый совместно, но исправно работающий коллективный опыт становятся рабочей областью процедур остраннения — арсенала приемов исследовательской дисциплины.

В распоряжении исследователя есть несколько возможностей произвести остраннение с полной научной легитимностью. Они так или иначе опираются на воображение, работа которого перекрывает разрыв в мыслимом новым разрывом с очевидностью, разделяемой с исследуемыми: введение далекого исторического примера, сопоставление социально далеких групп (дистанция между которыми также является продуктом истории), сравнение наблюдаемых взаимодействий с так или иначе определяемой нормой. Эти возможности остраннения, в разной степени жесткости удерживающие дистанцию между исследующим и исследующим-вместе-с-исследуемыми, способны дать вполне впечатляющие результаты, даже если самые общие основания социального порядка оказываются объективированы лишь аллюзивно. В предельном случае неожиданно сильное социальное потрясение способен вызвать плотный и концептуальный исторический текст, который, на первый взгляд, ничего не говорит о социальном порядке, современном исследователю. Тем не менее он словно поднимает исторический ветер, который пронизывает социальный порядок, встряхивая и обнажая некоторые его очевидности. Понятно, уже в замысле такого текста задачи историка определены не вполне характерным для традиционной историографии образом. В частности, в нем реализуется обратная перспектива: не от более раннего периода к более позднему, а от настоящего — к прошлому. Не менее сильный эффект способен произвести этнографическое описание, которое, за счет неизбежного присутствия в реконструируемом исследователем чужом опыте очевидностей собственного, позволяет читателю не только визуально пережить ряд образов «другого мира», но и внезапно ощутить превращение «своего» в «туземное». Не являясь в собственном смысле исследовательской процедурой, в том

числе и подобное чтение о «чужом» может прояснить понимание своего социального порядка.

Остраннение, обеспеченное работой воображения, противостоит дистанции, занимаемой наблюдателем заранее, на правах ученого по должности. Нередко именно такая предвзятая и институционально гарантированная дистанция лежит в основе типовых социологических исследований. Институционализированный отказ иметь что-либо общее с исследуемыми — своеобразная позитивистская конвенция — служит обеспечению порядка прежде всего в самой дисциплине. Помимо прочего, таким образом гораздо легче отправлять дистанцию: это существенно экономит усилия при «объективном» описании исследуемых, которое в противном случае исследователю пришлось бы сопровождать объективацией своего общего с ними опыта. Данная конвенция действенна в той мере, в какой коллеги разделяют друг с другом умалчиваемый необъективированный опыт или — что то же самое — полагают отклонения от него незначительным или незначимым, а контроль за отклонениями в дисциплине достаточно успешным. В целом, позитивистскую конвенцию можно рассматривать как основу моральной солидарности социальных исследователей: как и чрезмерная эмпатия исследуемым, «слишком» серьезное углубление в основания порядка, постановка вопросов об условиях возможности и т.д. грозит научной дисквалификацией, обвинением в выходе за рамки дисциплинарной проблематики. Поэтому дисциплинарное описание социального порядка своего общества сводится к хорошо согласованному и столь же ограниченному наблюдению в стороне от необъективированного. Нетрудно понять, что если речь идет о попытках выявить некоторые невидимые в силу очевидности основания социального порядка, немалая их часть остается в тени, которую отбрасывает раз и навсегда занятое исследователем «свое» место.

Смещение

Принципиальную альтернативу позитивистской конвенции предлагает этнометодология Г. Гарфинкеля¹, приемы которой используются гораздо реже в силу их более слабой институционализации и, в известном смысле, большей неожиданности в определении исследовательской позиции. В качестве одного из элементов своего метода Гарфинкель предлагает полную эпистемологическую инверсию: исследовать социальный порядок, превратив в основной инструмент исследования не способность наблюдателя к наблюдению, а его собственное чувство порядка, очевидное и усвоенное вплоть до телесных ощущений. Проблема наблюдения решается, таким образом, радикально просто: отказом от заранее фиксированной позиции наблюдателя, минимизи-

¹ *Garfinkel H. Studies in Ethnomethodology. Cambridge: Polity Press, 2003.*

рующего свое участие, и его активного вмешательства во взаимодействие, с целью остраннить их правила в совместном с наблюдаемыми переживании. Основной исследовательской процедурой, во многом утраченной или банализированной в последующих, более академизированных версиях этнометодологического изучения коммуникации, становится нарушение, которое и производит необходимый для исследования эффект смещения, рассогласования восприятия с базовыми очевидностями.

Данный раздел журнала также составили нарушения социального порядка, намеренно произведенные и подробно описанные «на стороне исследователя». Задачей, которая исходно лежала в его основе, отнюдь не сводилась к отработке этнометодологических процедур. Близость к этнометодологии стала спонтанным выражением исследовательской позиции и ответом на вопрос о том, как можно изучать социальный порядок современных обществ, когда традиционные методы социологического описания, развертывающегося в рамках позитивистской конвенции, дают зачастую весьма неубедительные результаты. Помимо внимания к переживанию нарушения, эти тексты не объединяет какая-либо общая исследовательская программа. И тем не менее они демонстрируют нечто общее. По мере выхода за рамки наиболее стабильных социальных рутин, машина социального порядка обнаруживает высокую степень самоподобия, но не в структурном измерении, как это мыслилось идеальным наблюдателям, вроде Т. Парсонса (с его теорией систем), а в измерении собственно процедурном. В отсутствии единой платформы, эксперименты с правилами в самых различных практических областях выявили общую механику — или драматургию — освоения социальной позиции. Притом, чтобы достичь некоторой глубины изучаемого порядка и наблюдать это самоподобие, нарушения социальных правил сами должны были следовать некоторому правилу, вернее, осуществляться с намерением, которое в обыденных классификациях соответствует серьезным проступкам или ошибкам, равно как не менее серьезным взысканиям.

Предлагая нарушение привычных правил коммуникации как способ их выявления, этнометодологический эксперимент неявно (в т.ч. для себя) определяет не только характер недозволенного, но и весьма ограниченный класс правил, которые можно подобным образом остраннить и прояснить. Следуя списку экспериментов, предлагаемых Гарфинкелем, это, прежде всего, правила *обмена кодами* в банальных, т.е. высококодифицированных ситуациях: обед с родителями, неоспоримость цен в супермаркете, конвенция интимной телесной дистанции и т.д.² Иными словами, это редко рефлекслируемые, но «легкие» легитимные принуждения и рутины, не сопряженные с серьезными санкциями для нарушителей и резистентные к нарушению, в некотором смысле, удобным для

² Там же. В частности, эксперименты, описанные в гл. 2.

исследователя образом³. Гарфинкель вполне отдает себе отчет, что сознательное совершение акта, который будет квалифицирован, например, как уголовное преступление и приведет на скамью подсудимых, а затем в тюрьму, также может стать продуктивным социальным экспериментом. Однако он рекомендует своим студентам воздержаться от нарушений, которые могут повлечь за собой реальные последствия для их социального благополучия. С благоразумием такой рекомендации трудно не согласиться. Но именно это благоразумие не позволяет установить, в каких пределах нарушение следует рассматривать как метод, в действительности выявляющий правила, а не меняющий их.

Проблема тем более значима, что в логике такого эксперимента нарушение должно быть в полном смысле интерсубъективным: исследователь обязан задействовать свои понимание и чувственность, разыграв их как ставку наравне с подопытными и отказавшись от привилегии «чистого» наблюдателя и бесстрастного регистратора. Инкорпорированное, усвоенное на уровне тела правило оказывается действительно нарушенным только в том случае, когда чувство нарушения (неловкости, стыда и т.п.) переживают обе стороны. Но именно потому, что острашение правила в экспериментальной ситуации также взаимно, по мере вовлечения наблюдателя модифицируется сама ситуация. Нарушая все-таки серьезные правила, будем ли мы в действительности иметь дело с теми правилами, с которых эксперимент начинался?

Исходя из данных собственных экспериментов и свидетельств этого раздела, можно утверждать, что нет. Учитывая характер реальности, с которой и в которой проводится любой социальный эксперимент, следует предположить, что при увеличении числа параметров нарушения и выборе в качестве его предмета все более «сильных» принуждений и рутин, все более выраженную форму будет обнаруживать своего рода социальный эффект Гейзенберга, т.е. изменение данных наблюдения, пропорциональное силе воздействия. Нетривиальные действия нетипичного персонажа и вызванные ими реакции (адаптация, санкции) «естественных» участников приводят к неизбежным сдвигам в структуре самой ситуации. Однако этим вопрос не исчерпывается, поскольку основным инструментом эксперимента выступает чувство порядка, инкорпорированное самим экспериментатором. Когда исследователь понимает и ведет эксперимент не как возможность игры с привычными кодами обмена, а как нарушение социальных границ, ставкой становится

³ В этой связи небезынтересен забавный апокриф, сообщаемый бывшей женой К. Кастанеды, чьим научным руководителем был Г. Гарфинкель. В одну из встреч Кастанеда предложил профессору впустить в комнату своего магического союзника: «О, все в порядке, Карлос, — ответил Гарфинкель, прячась глубже в своем кресле. — Прекрасно. Я верю, что союзник здесь, так что все нормально» (*Кастанеда М. Магическое путешествие с Карлосом. М.: Миф, 1998*). Нарушение привычных пределов нарушения — вопрос, приобретающий вполне практический характер в методологии изучения социальных правил.

ся сама возможность продолжать опыт и вести наблюдение «над». Выход за пределы коммуникативных сбоев и попытка не просто сыграть чужую или остраняющую роль, но занять принципиально иную *социальную позицию*, забрасывает исследователя в совершенно иной мир, где он уже не манипулирует отдельными правилами, а лихорадочно осваивает заново целый универсум, переживая все последствия записи новой позиции в тело. Это очень хорошо прослеживается в приводимых далее текстах. Так, один из экспериментаторов указывает на свою подстройку к структуре ситуации, вплоть до изменений в телесной схеме, и на опасения о том, что интеллектуальные сюжеты начинают терять привычный смысл: «Я стал подозревать, что глупею». Риск окончательно сместиться с исходной интеллектуальной позиции становится одним из основных мотивов прекращения эксперимента. Другая исследовательница переживает в конце эксперимента прилив патриотизма, который сопровождает принятие военной присяги *другими*, сама будучи отстранена от этого инициатического акта. Такое заимствованное переживание сопровождается признанием в размытии ориентиров наблюдения: «Я не знаю, вполне возможно, что я в чем-то ошибаюсь, что-то преувеличиваю...» Иными словами, в ходе «сильного» нарушения правила взаимодействия претерпевают сложные изменения параллельно с изменениями во взгляде и способностью наблюдения со стороны самого исследователя.

Впрочем, в обоих цитированных случаях эксперимент не был исходно «чистым», т.е. включение в него сопровождалась более легитимными и привычными социальными мотивами: заработок, моральный долг и т.п. Можно было бы отнести утрату прозрачности наблюдения на счет этих нормализующих мотивов и релевантных им действий. Такое объяснение было бы допустимо лишь отчасти. Определяющими в этой динамике выступают не исходные мотивы, а социальные последствия принятия экспериментатором — в качестве новичка — неизвестных условий. Регистрируя этапы присвоения новой позиции, точнее, присвоения восприятия и тела экспериментатора самой этой позицией, исследователь — а вслед за ним и читатель — переживает настоящую *социальную драму*, с целой серией перипетий, которая завершается катарсисом нормализации. Именно эта драма, разворачивающаяся в реальном «здесь и теперь» экспериментатора, создает его аффективную и телесную связь с новой позицией, формируя новые элементы субъективности, которые невозможно устранить из условий эксперимента. Вот экспериментатор пытается нормализовать свою очевидную прежде всего для него самую ненормальность; вот он пытается переиграть иерархические отношения, в которых ему, как новичку или девианту, отведено далеко не комфортное место; здесь он переживает частичную неудачу интеграции и предлагает окружающим «рациональную» интерпретацию своей новой позиции; а вот он добивается успехов и начинает воспринимать наблюдаемые отношения как все более реальные.

Смещение категорий восприятия в ходе подстройки к новой позиции, утрата границы между правилами, доступными интеллектуально, и порядком, успешно освоенным в действии, в конечном счете завершается формированием нового здравого смысла: многое в экспериментальной ситуации становится понятно без лишних объяснений, и сама ее экспликация *теряет смысл* или, по меньшей мере, требует значительных усилий. Таким образом, «социальный эффект Гейзенберга» имеет и обратную силу. Интеллектуальный эксперимент прекращается в результате своего социального успеха.

Тем самым, описание социальных структур в ходе нарушения остается доступным на относительно кратком интервале между первым шоком столкновения и рутинным поддержанием взаимодействия. Ведение записей позволяет обеспечивать необходимую дистанцию, с которой различия доступны восприятию гораздо дольше — в пользу чего свидетельствует нормализация практики ведения дневника в этнографическом исследовании. Но дело не только в точности восприятия различий.

В этнографии нарушение границы является необходимым и полностью легитимным условием проведения исследования — со всем аппаратом рефлексии, направленной на это событие и его последствия — письмо наделяется подчиненной, технической функцией. В эксперименте, направленном на свое общество, в отношении которого исследователь очевидно не наделен никакими высшими привилегиями, вопрос об условиях возможности нарушения смещается от самого акта пересечения границы к его легитимным основаниям. Вернувшись к вопросу о чистоте представленных экспериментов и признав, что за каждым из них стоял не только познавательный интерес экспериментатора, но и корыстный интерес участника социальных взаимодействий, можно усомниться в основаниях, а значит, в самом статусе произведенных действий как познавательных. Кроме того, при наличии «естественной» заинтересованности в исходе игры, в какой мере вообще можно считать нарушение контролируемым?

Ответ снова лежит в стороне от мотивов экспериментатора и даже действующих сил ситуации. Этим ответом является само письмо: нарушение становится контролируемым экспериментом по мере его описания. В *акте письма* переопределяется «естественный» смысл происходящего и участник, стремясь прояснить ситуацию, формулирует для себя ориентиры дальнейшего вмешательства. Даже в случае, когда письмо не сопутствует нарушению, а фиксирует его *post factum*, как это имело место в случае безбилетного проезда, само намерение описать служит сильным регулятивом действий участника. Запись не просто регистрирует происходящее и даже не только делает его доступным для других (формальное условие признания нарушения экспериментом). Письмо становится собственным местом эксперимента, откуда исходят чуждые «естественному» развитию ситуации импульсы и вопросы, где учреждается собственная логика, которая, в свою очередь, преобразует струк-

туры взаимодействия. В акте нарушения письмо — это то, что гарантирует мышление участника как экспериментатора, но это также то, что обязывает его к продолжению нарушения. Это своего рода сакральная *привилегия* и вместе с тем опасное обязательство нарушителя в своем обществе. В этом смысле совершенно не случайна зачарованность М.Фуко связью письма с преступлением у убийцы XIX в., оставившего подробное описание своих действий⁴. Письмо, служащее отчасти или прежде всего мотивом преступления границ, становится частью акта преступления или самим преступлением.

Верно и обратное. Отсутствие мотива к письму закрепляет нарушение в сфере неординарной практики, которая может подчиняться в том числе познавательным интересам, схожим с интересом исследователя. Но если письмо, отчасти освобождая от тягот нарушения, заново включает его в широкий горизонт интересубъективности⁵, ненаписанное нарушение переживаемое в личном опыте, который разделяет лишь ближайший круг взаимодействия, подвергается всем предусмотренным социальным санкциям и запечатлевается в форме самоцензуры или даже социального стигмата, делая почти невозможным — крайне некомфортным — его последующее описание. Помимо прочего, это подтверждается результатами моего общения с потен-

⁴ Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma soeur et mon frère... / Présentation par Michel Foucault. Paris: Flammarion, 1994.

⁵ Включая предельные случаи. Так, переопределив свое вынужденное пребывание в концентрационном лагере как эксперимент по возвращению смысла и воли к жизни в обстоятельствах, располагавших к крайней апатии, В.Франкл ослабляет груз смертельного отбора и ежедневной пытки прежде всего благодаря тому, что лишает происходящее статуса неотвратимой, единственно возможной реальности, который присваивают происходящему заключенные после первого шока поступления (*Франкл В. Психолог в концентрационном лагере // Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс, 1990*). Наряду с продолжением в этих обстоятельствах терапевтической практики, в работу по расщеплению реальности ситуации также встраивается мотив письма. Обращаясь к старому заключенному сразу по прибытии, Франкл показывает ему свой текст: «Я хочу сберечь эту рукопись, как-нибудь сохранить ее. Она содержит труд моей жизни, ты понимаешь?» Переживая результаты терапевтического опыта как успешные нарушения ситуации концлагеря, Франкл восстанавливает свои отношения (и отношения своих «подопечных») с гораздо более широким горизонтом интересубъективности, нежели горизонт переживаний и ожиданий обреченных узников. Даже если намерение письма принимает здесь воображаемую форму, именно она служит ресурсом, необходимым для пересечения границы: «Моя ситуация представлялась мне безотрадной и безнадёжной. Тогда я представил себе, что я стою на кафедре в большом, красивом, теплом и светлом конференц-зале, собираюсь выступить перед заинтересованными слушателями с докладом под названием «Психотерапия в концентрационном лагере» и рассказываю как раз о том, что я в данный момент переживаю. С помощью этого приема мне удалось как-то подняться над ситуацией, над настоящим и над страданиями и увидеть их так, как будто они уже в прошлом, а я сам, со всеми моими страданиями, представляю собой объект научно-психологического исследования, которое я же и предпринимаю».

циальными авторами, которых я приглашал к сотрудничеству и просил описать опыт осознанного нарушения или совершить новое. Так, я предлагал описать свой (в том числе ранний) опыт контролируемого нарушения политическим активистам, для наиболее радикальной части которых официально не разрешенная манифестация или провокация милиции на арест являются сознательно используемым инструментом овладения ситуацией. Я также обращался к коллегам по социальным исследованиям и студентам, каждый из которых мог сообщить о каких-то лично значимых или даже всерьез меняющих социальную траекторию социальных экспериментах, как, например, уход отличника из университета в армию. В личном разговоре все мои собеседники могли восстановить наиболее сильные переживания, обещали «подумать» о написании текста и никогда этот текст не предлагали, порой ограничиваясь молчанием, порой — в ответ на многочисленные напоминания — смущенно объясняя отказ тем, что «все-таки не готов описать этот опыт», «почему-то не получается», «не знаю, о чем писать» и т.д.⁶ Исключения также были показательны. Например, страничный текст студентки о мелких кражах (не включенный в данную подборку): ее готовность к самоописанию, которое в других случаях воспринималось как неловкое или опасное признание, можно небезуспешно объяснить принадлежностью к одной из стигматизированных социальных категорий, что делает более вероятной — в силу навыка управления стигматом — артикуляцию неординарного опыта. Чувство (собственной) нормальности делает акт письма рискованным предприятием, и, наоборот, преодоление нерешительности влечет за собой моральные следствия — согласие на письмо захватывает и переопределяет восприятие нарушения. Даже наиболее «банальные» опыты с социальным порядком приобретают в письме новый смысл. Мелкая кража, переживаемая в акте как индивидуальный и тайный опыт, получает в письме дополнительную рефлексивную оснастку, неожиданно для самого участника обнаруживая ее интересную субъективную гарантию — «сообщничество» — и заставляя сомневаться в привычных устоях.

Таким образом, представленные здесь тексты — результат согласия организаторов нарушения прежде всего на акт письма. Договоренность «написать о», писать «в процессе» была заключена с ними в самом начале эксперимента или предшествовала ему, в случае Д. ван Керн — в форме отчета об исследовании. Опыт последней, дословно воспроизводимый по диктофонной записи, также не является, в строгом смысле, контролируемым нарушением от начала и до конца. Задавшись целью «просто» описать политическую манифестацию, начинающая ис-

⁶ Серия отказов и тематическая незавершенность исходного замысла послужила причиной долгого «созревания» этой небольшой подборки текстов: первые были написаны в 2002 г.

следовательница совершила все действия, необходимые для создания экспериментальной ситуации, для начала покинув рамки привычных социальных рутин, которые в условиях сегодняшней России не предполагают участия перспективной студентки и «девушки из приличной семьи» в подобных мероприятиях. В собственном смысле экспериментальную ситуацию породило ее свободное перемещение между всеми участниками, проясняющее и фиксирующее их роли в политическом представлении, и непосредственный контакт с каждой из сторон, нетривиальный для политических манифестаций, где каждый общается внутри своего «лагеря» (особенно в присутствии враждебного), а представление о противниках получает издалека. Для остальных участников нарушением привычной ситуации пикета, ориентированного на СМИ, было появление «странного» участника, не классифицируемого в привычных категориях политического события, по своей вездесущности близкого к журналисту, но задающего свои вопросы также и журналистам.

Эта непродолжительная по времени ситуация, где перед глазами исследователя-новичка мельтешит хоровод политических персонажей, где все обмениваются со всеми непрозрачными кодами, которые нужно во что бы то ни стало успеть прояснить, наглядно показывает, что познавательный эффект обусловлен не длительностью эксперимента, а, в некотором смысле, качеством смещения привычных ориентиров, решающую роль в котором приобретают действия и переживания самого исследователя. В свою очередь, о глубине его вмешательства в привычный обмен между остальными участниками свидетельствует хотя бы то, что привычно безмолвные персонажи раздражаются неожиданными откровениями и самоопределениями. Так, одна из «естественных» участниц эксперимента замечает: «Не знаю, как Вам удалось их расколоть, потому что они Вам прямо заявили, что они из ФСБ».

Если письмо делает контролируемое нарушение возможным, то его познавательный эффект, в свою очередь, наиболее явствен в момент активации базовых правил и типичных реакций, в которые, по внутренней армейской логике (армия как дисциплинарная закрытая среда), по логике экономического обмена (оплата за проезд как неоспоримая очевидность) и т.д., не нужно и не должно вдумываться. Участники могут открывать для себя смысл и удовольствие эксперимента по ходу его описания, что никоим образом не отменяет его эвристичности и познавательной ценности. В конструируемом на ходу нарушении вариациям и переопределению подвергаются не только правила исходной ситуации, но и сами правила эксперимента. Экспериментатор обнаруживает, что нет ничего более захватывающего, чем изобретение правил по нарушению правил.

В кульминации нарушения сосредоточенность на его переживаниях создает тоннельный эффект: вместе с отвергнутым благоразумием с переднего плана восприятия уходят некоторые привычные связи меж-

ду событиями и горизонтообразующие очевидности, отчего некоторое время спустя при перечитывании собственного текста экспериментатор находит его «наивным». В ситуации контролируемого нарушения и неконтролируемого стремления свести неопределенность ситуации к минимуму, опыт другого как себя (желание занять «их» позицию) уравнивается и синхронизируется с опытом себя как другого (восприятие «ими» «моих» особенностей, «моего» с «ними» несходства). Отказ от привычного благоразумия и видимая другим участникам *неразумность* нарушения даже тогда, когда экспериментатор пытается по ходу ввести новые разумные доводы и правила, в действительности сопровождается обостренной работой мышления всех участников. Именно в этот момент правила, на вскрытие которых рассчитывает этнометодология, меняются, а неразумная рациональность участников становится частью самой ситуации⁷. По сути, на пике акта нарушения возникает возможность переучреждения если не всего социального мира, то некоторых правил обмена.

Нарушитель, который покинул пределы конвенционального благоразумия, заставляет сделать это и тех, с кем он взаимодействует. Тоннельный эффект, который исследователь может отметить *post factum* в собственном восприятии, с большой вероятностью, возникает и в восприятии других участников, привлеченных его действиями или нетипичными свойствами. Написанный во время нарушения или сразу после него текст обнажает работу восприятия и мышления в его наиболее эффективной фазе — в момент овладения неопределенной ситуацией и преодоления ее неопределенности. Режим прямого действия, в который смещается нарушитель — это необходимость повторно совершать «элементарные» операции и испытывать «первичные» переживания, связанные с негарантированным занятием социальной позиции, свойственные более ранним этапам социализации. Быстрота и высокая аффективная нагрузка такого опыта, в котором формируется новое отношение — одновременно через отождествление и различие — между «я» и «другие», порождает более короткие и непосредственные, и при этом более ясные связи между элементами восприятия. Мир подобного опыта, в силу неотложности его проблем и вопросов, в самом деле, более «наивен»⁸. В привычной ситуации, когда участник занимает «свое» социальное место, игра отождествлений (себя с другими), которая сопровождает переживание своей неуместности, теряет прежнюю остро-

⁷ Так, в ответ на довод, что пассажир-нарушитель оплачивал свой проезд во все прежние поездки, контролер восклицает: «Но это безумие!» Однако, не обнаружив сильного «разумного» основания, которым можно было бы нейтрализовать этот «безумный» довод, он вынужден тут же сделать его отправным: «А у Вас есть доказательства, что Вы все время платите?»

⁸ Помимо прочего, это говорит о том, что эффективно действующее сознание более наивно, чем его представляет большинство интеллектуальных моделей, гораздо чаще отсылающих к языку, чем к собственно действию.

ту. Помимо того, что это ощущение наивности отсылает к состоянию «здесь и теперь», которое перестает быть вполне доступно и постижимо вне ситуации нарушения, оно же свидетельствует о восстановленном благоразумии, стыдливо вытесняющем некоторые «неуместные» в привычной ситуации переживания и смыслы.

Определенность

В своих текстах экспериментаторы свидетельствуют о том, что контролируемое нарушение меняет их самовосприятие. Этот эффект вызван одновременной успешной реализацией (в ходе нарушения) познавательного интереса, который ослабляет предусмотренные для нарушителя санкции, и неизбежным действием социальных сил, которые обеспечивают присвоение социальными позициями тел участников взаимодействия. Здесь эффект длительности и повторов уже имеет решающую роль. Чем более длительно пребывание в ситуации, с чем большей тщательностью она регламентирует телесные движения, тем труднее экспериментатору — и, конечно, участникам — выйти за устанавливаемые внутри ситуации позиции. Публикуемые свидетельства А.Лазарева и Ф.Тафреновой позволяют проследить не только действие локальных логик обмена, но и — изнутри — процесс занятия новой позиции. Так, девушка в армейских сапогах вдруг замечает, что бывший однокурсник, произвольно назначенный старшиной, через контроль над простейшими телесными операциями становится командиром уже в социальном и моральном отношении, и что эта новая иерархия начинает действовать также за пределами плаца. Интеллектуал, занявшийся физическим трудом, с полной самоотдачей переживает несколько кратких периодов «невыполнимой» работы, совершаемой с группой коллег: первые 11 часов работы в отсутствии каких-либо навыков, «брутальную трехдневку» на пике своей новой компетентности. В результате, он не без некоторого страха обнаруживает появление не только новых телесных навыков, но и спонтанно разделяемое отношение к «ненавистному» начальству, которое служит одним из оснований ремесленной солидарности театральных монтажников. Чередование моментов напряжения с моментами расслабленности, притом что последние никогда не бывают пустыми и заполняются локальными формами социальности и солидарности (общим досугом, матерными шутками, совместным принятием пищи и выпивки и т.д.), создает тот постоянный ритм, на фоне которого разворачиваются более заметные и значимые для участников перипетии социальной драмы освоения нового универсума. Но именно этот фоновый ритм записывает новые рутины в тело экспериментатора по мере того, как тот записывает в дневник результаты своих действий и наблюдений над ситуацией.

Другим важным механизмом, работу которого позволяют наблюдать все приводимые свидетельства, является управление страхом при осво-

ении новой позиции и связанной с этим неопределенности — риском санкций вслед за ошибками в научении «правильному» действию. Ведущую роль в этой механике играет приписывание другим, «угадывание», мотивов их действий — неконтролируемая попытка восстановления целостности универсума, нарушенной при пересечении границы и перемещении с привычной позиции. Забота участников о целостности символического универсума — неизменный предмет внимания самых различных направлений исследований, от классического интеракционизма и теории когнитивного диссонанса до конструктивизма П.Бергера с Т.Лукманом и этнометодологии. Уступкой, которую совершают все эти направления в пользу академической чистоты, является перенос данной целостности в символическое измерение, как если бы речь шла о естественной универсальной потребности в одной только замкнутой и непротиворечивой системе знаков. То есть в конечном счете понимание смысла, управляющего действием, как знака. Тогда как данные экспериментов свидетельствуют о том, что гораздо больше, нежели в непротиворечивой семантической системе (если таковая в принципе возможна где-то за пределами теории), все участники взаимодействий, включая экспериментаторов, нуждаются в установлении базового аффективного согласия, телесного соответствия своему месту, которое не только и не столько гарантирует непротиворечивость, сколько маскирует многочисленные противоречия в системе смыслов, создавая *иллюзию* непротиворечивости⁹. Достаточно отметить, сколь большую важность новички (исследователи) на пороге вхождения спонтанно приписывают общеническим телесным жестам и смеху. Быть принятым в круг «своих» — это добиться того, что остальные смеются твоим шуткам, а не над твоей неуклюжестью. Или когда кто-то совершает нарушение вместе с тобой. Или, по меньшей мере, когда твоя девиантность принята в качестве неизбежной, и это принятие сопровождается целым каскадом телесных реакций: разочарованных и облегченных вздохов, опущенной головой, коротким «усталым» взглядом и т.д. Любое признание, вписывание в классификацию, дооформляет позицию, занятием которой озабочен участник или исследователь. По мере прохождения через микрокатарсисы этого смыслового (телесно-символического) переопределения ситуации теряют свою четкость и прозрачность исходные мотивы письма. Неизбежным средством продолжения исследования становится удержание от дружбы с «естественными» участниками ситуации, к которым исследователь наиболее расположен, и избегание систематического проявления вражды с теми, к кому он испытывает антипатию. Сильная, т.е. «естественная» аффективная связь с ситуацией, по выра-

⁹ В этом отношении, понятие габитуса, предложенное П.Бурдьё — как телесно укорененного набора ментальных схем — является более корректным и исчерпывающим объяснением (См.: Бурдьё П. Практический смысл. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб: Алетейя, 2001. С. 100–128).

жению Спинозы, направляет «в руки фортуны», затрудняя управление нарушением.

Во всем этом нетрудно заметить, что контролируемое нарушение диктует иное благоразумие, нежели покинутая система, которая в качестве интериоризированных исследователем санкций порождает чувства неловкости, стыда, неуверенности. На деле, система остается той же, по меньшей мере, для остальных участников взаимодействия, поскольку определяется не содержательно, но одним только фактом «правильного» занятия мест. Эффект обнажения иллюзорности этих правил вызван резким перемещением самого исследователя с его «естественного» места. В приводимых текстах самораскрытие нарушителю ложности универсального благоразумия происходит как обязательный этап освоения новой ситуации. Это переживание может быть настолько сильным, что проецируется на последующие обстоятельства и взаимодействия, как в случае банальной фразы «свободных мест [в вагоне] нет», которая в результате приостановки в акте нарушения прежнего взгляда на мир сгущается в грубую метафору универсального порядка («свободных мест нет в обществе»). Дальнейшая реабилитация смысла собственных действий, вызывающих опасения и колебания, заставляет в режиме неотложности искать или создавать новые правила осмысления ситуации, позволяющие действовать, пытаться занять положение не ниже, чем «они». И если одна из таких возможностей — это удовлетворенное желание «узнать, что происходит за пределами известной мне социальной среды, и могу ли я там существовать» (приобретенный опыт монтировщика сцены), то другая заключается в дискредитации «моих» склонностей в качестве «их» предписаний — с внезапной остротой осознанных как капиталистические (опыт безбилетного проезда).

Приостановка универсального благоразумия не является исключительной привилегией ограниченного по времени и задачам исследовательского эксперимента. Сознательное нарушение порядка, поставленного под вопрос как несправедливый и капиталистический, лежит в основе целого спектра активистских практик, которые в предельных случаях образуют относительно замкнутые миры стилей жизни: коммуны, ведущие натуральное хозяйство вдали от крупных городов, временные экологические лагеря протеста или подвижные сообщества сквоттеров, которые занимают пустующие здания в черте крупных городов и превращают их в места проживания и артистических практик, бесплатно пользуясь городским электричеством, отказываясь платить за проезд в общественном транспорте, собирая списанные продукты в магазинах и вечерний хлеб в булочных, при этом устраивая бесплатные концерты и выставки, организуя обеды для внешней публики, за которые каждый платит сколько может (или ничего), и т.д.¹⁰ Для активистского ядра дли-

¹⁰ Речь идет прежде всего о западноевропейских обществах, где гораздо более широкий, чем воспроизводимый здесь, спектр практик можно наблюдать в полном мас-

тельность жизни в таких зонах может составлять десятки лет и сопровождается формированием устойчивых мыслительных схем, которые отправляются помимо конвенционального благоразумия. Речь идет не только о новых формах рефлексии о социальном порядке, неакадемических, а порой и открыто антиинтеллектуалистских теориях, восходящих к активистским дискуссиям. Непрерывность нарушения порядка, подкрепленная такими теориями, объективируется в узаконенных этими стилями жизни новых правилах обмена, которые нацелены на переопределение правил конвенциональных. Так, если крупные торговые центры и супермаркеты выпускают каталоги с ассортиментом товаров, подталкивающие потребителей к покупкам, в международных активистских сетях, среди множества пособий, циркулирует руководство по кражам в супермаркетах, где подробно описано, как правильно прятать и выносить товары, как скрываться от камер, кого опасаться в пространстве магазина. В других пособиях можно найти описание того, как выбрать здание для сквота и организовать в нем жизнь, как самостоятельно научиться играть на гитаре, с минимальными затратами сделать диск с записью и провести некоммерческий концерт, как вести себя при задержании полицией, как избежать неприятностей при проведении free party, какую литературу читать активисту, какую музыку слушать, какое кино смотреть и т.д. В конечном счете активистское письмо, которое в большинстве случаев имеет вполне утилитарный и педагогический характер, транслируя альтернативные конвенциональному благоразумию мыслительные схемы и практики, является одним из ключевых условий их существования¹¹. Нормализация аномального в средах политических активистов, как и в девиантных сообществах, служит основой новых конвенций и правил благоразумия, которые производят в отношении их носителей не менее сильные принуждения, нежели конвенцио-

штабе. Носители указанных жизненных стилей нередко пересекаются, перемещаясь из одной зоны в другую и образуют общую подвижную среду.

¹¹ Наблюдения и интервью в различных активистских средах свидетельствуют о принципиальном значении, которое сами участники придают созданию и циркуляции «своей» литературы. В таких отчасти пересекающихся средах, как анархистская, политизированная музыкальная, экологическая, акт самостоятельного и осознанно активистского письма: создание собственного листка, журнала или написание статьи, обзора в уже существующий самиздат, — не просто повышают авторитет участника, но и воспринимаются как знак его окончательной ангажированности, бесспорного превращения в активиста. В этом смысле, акт письма является различительным в политическом отношении, располагая участников на разных уровнях ангажированности и готовности к нарушению. Получить или приобрести новые журналы и листки считается «первым делом», их выход ожидается и активно обсуждается, наиболее удачные тексты становятся поводом для многочисленных обменов и самоопределений. Каждое новое издание реферируется в других изданиях (далеко за рамками частной политической платформы), тем самым снижая эфemerность существования и социального успеха различных активистских стилей жизни.

нальные «всеобщие» правила¹². В случае социального успеха протеста, практики, несущие непрерывное коллективное нарушение, образуют одну из возможных форм порядка.

В свою очередь, не следует упускать из виду, что любой конвенциональный порядок предусматривает зоны и моменты *узаконенного* нарушения. Таковы современные сатурналии: например, выпускные вечера, где старшеклассники на глазах учителей и в их отношении делают то, от чего их старательно удерживают в школьных стенах; компании в офисных курилках, где в обмене скабрёзными анекдотами приостанавливаются должностные иерархии; даже вагоны вечернего метро, где места напряженно безликой публики постепенно заполняются расслабленными, почти как в домашних креслах, молодыми людьми, эксцентричными одинокими дамами и благочинными семейными парами за бутылкой пива, целующимися подростками, пожилыми мужчинами с чипсами и мороженым и т.д. Одним из способов придать нарушению *узаконенную* форму является его театрализация, которая строится на презумпции более широкого интересубъективного мотива, нежели тривиальный корыстный интерес. Например, ТВ-постановки скрытой камеры (исключая, конечно, имитацию спонтанных реакций на нарушение профессиональными актерами), претендующие на то, что в занимательной форме сообщают телезрителю более глубокую истину о человечестве, чем постановочная телепродукция¹³. Или массовые праздники, включая День десантника, *узаконенный* не *de jure*, а *de facto*, когда вместе с размытием границ между институционализированной и спонтанной организацией гуляний меняется привычное использование городских пространств: прохожие прогуливаются по проезжей части, на улицах возобновляется употребление спиртного, фонтаны используются для купания, — за что при рутинном воспроизводстве порядка участникам грозят стандартные санкции. Отдельно можно изучать вопрос о том, насколько пережитые во время инверсии порядка приключения (в частности, неожиданные знакомства, новые связи) меняют привычные взаимодействия и их правила. Однако основным результатом подобной инверсии является то, что участники нарушения возвращаются к привычным делам, сохранив приятные воспоминания и в очередной раз убедившись в

¹² «Естественное вовлечение», которое, не избегая некоторых упрощений, Г.Беккер описывает применительно к спонтанным нарушителям правил (*Becker H. Outsiders. Studies in the sociology of deviance. New York — London: The Free Press, 1973. P. 23–27*), работает и в средах, выстраивающихся вокруг сознательного протеста против заведенного порядка. То же относится к вписанной в самые разные неконвенциональные стили жизни возможности карьеры, которая реализуется в механизме, принципиально схожем с наиболее легитимными профессиональными образцами.

¹³ Не случайно талантливый экспериментатор С.Милграм интересуется тем, могут ли постановки «скрытой камерой» предоставлять данные, значимые с научной точки зрения (*Милграм С. Эксперимент в социальной психологии. СПб.: Питер, 2000. Гл. 21*).

устойчивости привычного хода вещей. Иначе говоря, узаконенное нарушение, несущее в себе такую же социальную определенность, как и рутинное воспроизводство «своей» позиции, не переопределяет порядок, а служит одним из основных инструментов его поддержания.

Контролируемое нарушение также неизбежно задействует тот или иной способ восстановления порядка: уход из монтировщиков сцены обратно в интеллектуальный мир, эмоциональное единение с почти «своим» взводом, принимающим присягу, приемлемое для обеих сторон избавление от штрафа за безбилетный проезд. Но, в отличие от узаконенного нарушения, оно, как и политический активизм, привносит в правила взаимодействия некоторую продуктивную неопределенность. Поскольку в ходе эксперимента происходит позиционное смещение и реализуется, помимо прочих, познавательный интерес, контролируемое нарушение не только вскрывает некоторые неосознаваемые основания порядка, но и оставляет в нем протоформы новых правил. Не стоит ни преуменьшать, ни, тем более, преувеличивать масштаб возможных изменений, вносимых экспериментатором. Увеличение числа нарушителей, которые вводят в социальный обмен неожиданные мотивы, создавая своего рода смысловую перегрузку взаимодействий, способно в конечном счете привести к переопределению правил обмена. Учитывая, однако, что даже самое серьезное нарушение восполняется социальным катарсисом — той или иной формой признания нарушителя на основании уже существующих типологий — а также то, что в ходе освоения незнакомой ситуации нарушитель активно использует вполне привычные ресурсы снижения неопределенности, вносимые им изменения достаточно быстро абсорбируются порядком, частью которого он становится.

Об использовании «своих» классификаций, которые заимствуются из привычных и легитимных условий для восстановления гармонических отношений с участниками ситуации и, более широко, с ситуацией в целом, свидетельствуют все приводимые здесь тексты. Будь то обоснование начинающим социологом — через обращение к научной нейтральности — собственной политической неклассифицируемости, помощь другим в наделении себя безопасным стигматом симпатичного «очкарика», попытки девушки на военных сборах добиться уважения юношей-сослуживцев или усилия по нормализации для себя и собеседника мотивов безбилетного проезда. Более того, «свои» отличия, которые поначалу воспринимаются самим экспериментатором как наиболее вызывающие, выступают поводом для нормализующих интерпретаций и предметом наиболее поспешного превращения аномального в привычное. Что не менее неожиданно и еще более банально, совершив прыжок в неизвестность, экспериментатор постепенно обнаруживает, что «они» — исходно неизвестные и пугающие другие — отнюдь не так далеки от «своих». Среди них обнаруживаются типажы, вполне знакомые по привычным взаимодействиям, или персонажи, типизиро-

вать которых на основании имеющихся схем удастся быстро и безболезненно. Более того, все отчетливее переживая симпатии и антипатии как участник ситуации, экспериментатор открывает для себя среди других участников социально близких персонажей. Поэтому чем-то принципиально новым в описанных нарушениях выступает не столько формирование ранее отсутствующих оснований классификации, сколько сам ход использования привычных мыслительных схем, обнажающий перед экспериментатором неявную-очевидную механику возобновления порядка.

Задействуя «свои» мыслительные средства для овладения «их» ситуацией, стремясь снизить ее неопределенность, экспериментатор (как участник) невольно — социально — не просто пытается превратить свое нарушение в норму, но и привести ее к универсальному благоразумию. Воля к определенности перед лицом других в конечном счете перепрыгивает «другой» опыт в традиционных тождествах здравого смысла, делая его менее заметным в том числе для самого исследователя. В результате, неизбежно двойственный интерес нарушителя — как исследователя и как «корыстного» участника взаимодействий — делает вопрос возможности контролируемого нарушения еще более сложным. В ряд условий нарушения попадает «естественная», т.е. биографическая предрасположенность исследователя к определенному классу нарушений. В самом деле, если даже объект типового исследования в рамках позитивистской конвенции, отданный на выбор исследователя, так или иначе отвечает его социальным предрасположенностям (нередко, имеет место та или иная форма близости с изучаемыми), готовность к более опасному нарушению требует еще большего соответствия глубоко заложенным (донаучным) предпочтениям. Не каждый исследователь готов совершить любое нарушение. Представленные здесь опыты являют собой ценные в силу своей редкости события, которые в каждом случае определяются стечением целой серии обстоятельств, далеко не ограниченных одним только познавательным интересом. Вернее, этот познавательный интерес оказывается более или менее «естественно» вписан в готовность к нарушению, наряду с другими предрасположенностями, которые ему благоприятствуют. Кроме того, точно так же, как разным типам биографических траекторий исследователей соответствуют разные классы нарушений, которые могут быть каждым из них осуществлены и описаны, биографически не произвольным в каждом из случаев оказываются предпочтительные способы восстановления порядка.

Поскольку далеко не всё в контролируемом нарушении находится под контролем участника-исследователя, отчасти воздействуя на правила и перенося его познавательные мотивы в определение ситуации другими участниками, эксперимент гораздо быстрее и настоятельнее принуждает экспериментатора считаться с «их» правилами. Осваивая новую позицию в условиях постоянной отсрочки ее окончательного занятия — эффект, производимый ее мотивированным извне описани-

ем — и вместе с тем постепенно утрачивая сакральную привилегию нарушителя по мере нормализации письма в экспериментальной ситуации, исследователь сообщает об «их» порядке, неизбежно представленном в «своем» переживании. Такое избавленное от противопоставления субъекта и объекта описание правил обнажает их механику, безразличную к отличию между «мы» и «они» по крайней мере в одном отношении.

Все эксперименты свидетельствуют о том, что как на стороне исследователя, так и на стороне других участников ситуации, в механизм воспроизводства порядка встроено множество замаскированных нарушений. Более того, в пределе весь порядок предстает санкционированием некоторых нарушений за счет и в пользу нормализации некоторых других. Так, в ситуации безбилетного проезда двусмысленную игру ведут оба участника, подавая друг другу ложные сигналы, но обман контролера заранее оправдан институциональной властью, которой он наделен, тогда как аналогичные действия нарушителя нелегитимны и порицаемы вдвойне¹⁴. Описание среды монтировщиков сцены изобилует множеством нарушений, которые самым естественным образом встроены в ремесленную практику, начиная с *de facto* узаконенного нарушения запрета курить на сцене, заканчивая порой простительной работой в нетрезвом состоянии и воровством инструментов. Увольнение «в какой-то момент» того или иного монтировщика является в конечном счете ситуативным произволом администрации, который маскируется подведение порой случайного проступка под одну из статей договора. Собственно, прошедшая относительно быстро и безболезненно нормализация всех отличий «очкарика» в этой среде во многом объясняется привычной нормализацией в ней множества мелких девиаций. Нарушение конвенционального уличного порядка политическими активистами, но также гражданских прав активистов — официальными органами поддержания порядка, составляет необходимую основу манифестации или пикета как значимого и медиатизируемого события. Множество следов, свидетельствующих о порядке как *нормализации нарушений*, имеется во всех публикуемых здесь свидетельствах.

В этом смысле нарушение, предпринятое исследователем, оказывается не более опасно и имморально для изучаемой ситуации, чем «естественный» порядок производимых и нормализуемых ею самой нарушений. «Наивность» представленных здесь текстов обнажает различные

¹⁴ Исследования нарушений в самых разных областях показывают, что за одни и те же юридически квалифицируемые преступления наказание существенно варьирует в зависимости от социальных свойств их совершивших: мужчины или женщины, белого или черного, безработного или выходца из средних классов и т.д. (см. список примеров, в частн.: *Becker H. Outsiders*, p. 13–14). Не удивительно, что в случае, когда нарушитель выступает как страж порядка, любые нарушения им вторичных по отношению к должностным правилам не только воспринимаются более терпимо, но и получают признание как легитимная и даже необходимая мера по восстановлению порядка. О чем и свидетельствует диалог с контролером.

нарушения всех участников ситуации как неотъемлемую часть порядка. И если при чтении каких-то эпизодов читатель переживает чувство стыда или возмущения, это говорит только об успешной работе конвенционального благоразумия. Его предписания, помимо прочего, диктуют нам быть недостаточно честными, чтобы помнить о всех тех нарушениях, мелких или крупных, актах насилия и обмана, которые мы на вполне легитимных основаниях совершаем под прикрытием порядка. Заняв «свое место», мы зачастую склонны забывать, что не только «естественное» освоение правил в детстве, но и их последующее, благопристойное и ответственное, исполнение неминуемо опирается на нарушение.